Аграрная революция 1917 года в России: стоит ли изучать экономическую историю, забыв о печальном конце?

И.А. Кузнецов

Игорь Анатольевич Кузнецов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 119571, Москва, пр-т Вернадского, 82. E-mail: repytwjd68@mail.ru

Целью статьи является постановка вопросов о путях дальнейшего изучения экономической истории сельского хозяйства и крестьянства регионов России периода 1861–1914 годов. В статье критически анализируется концепция российских революций Б.Н. Миронова, выявляются логические противоречия в ее аргументации. В основе этой концепции видится переоценка значимости случайных и субъективных факторов, недооценка фактора аграрного перенаселения и экономических противоречий, порождавшихся аграрным развитием. Через критику «оптимистической» парадигмы экономической истории пореформенной России намечаются задачи исследования аграрного развития и его социальных последствий для крестьянства. Предлагается к обсуждению тезис, что хозяйственный прогресс и рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в черноземных регионах юга и юго-востока с низкими издержками производства выступал фактором кризиса относительного перепроизводства зерна в России. Значительный слой мелких крестьянских хозяйств районов старого земледельческого центра, будучи неконкурентоспособными на зерновом рынке, вытеснялись с рынка, маргинализировались, закрепляя натурально-потребительский характер и утрачивая стимулы к интенсификации. Рыночные ограничения, создаваемые перепроизводством зерна, являлись важным фактором аграрного перенаселения в центральных регионах страны. Институциональные ограничения, существовавшие до столыпинской реформы, усугубляли аграрное перенаселение. Аграрное перенаселение создавало социальную базу аграрной революции. Содержанием аграрной революции 1917 года было укрепление позиций семейно-трудового хозяйства с традиционной технологией за счет уничтожения платы за доступ к земле как главному фактору производства.

Ключевые слова: история российских революций, аграрная революция, аграрное перенаселение, крестьянское хозяйство, модернизация, Б.Н. Миронов

DOI: 10.22394/2500-1809-2019-4-1-22-44

Модой новейшей историографии является отрицание экономических предпосылок революции 1917 года. Наиболее последовательно и аргументированно эта позиция проводится в трудах Б.Н. Миронова: большой монографии о благосостоянии населения России за два века (Миронов, 2012а), огромном обобщающем трехтомнике (Миронов, 2015) и длинном ряде примыкающих к ним статей.

Конечную цель своей работы историк видит в том, чтобы скорректировать устоявшийся имидж царской России как страны отсталой в экономическом и политическом отношении и тем самым повлиять на общественное сознание современных россиян, избавить их от стереотипов «исторической неполноценности... особенно в присутствии иностранцев», привить чувство национальной гордости (Миронов, 2012а: 12–16). Факт революции омрачает картину настолько, что Миронов порой предлагает читателям вынести его за скобки, забыть о нем: «Попробуем свежим взглядом посмотреть на развитие России в пореформенный период, забыв о печальном конце, наступившем в 1917 году» (Миронов, 2012б: 67). Такая позиция историка представляется реакцией на банкротство советской историографии, которая описывала революцию как освобождение народов России от всяческого гнёта и эксплуатации и выход страны на путь подлинного социально-экономического прогресса. Когда коммунистический миф растаял, сместились многие точки отсчета в изучении как советского, так и дореволюционного периодов истории. Однако уйти от проблемы 1917 года не получается, вопросы: как и почему успешное развитие завершилось «печальным концом», требуют ответов, и историк вынужден давать те или иные объяснения.

В данной статье я предполагаю рассмотреть, в чем заключается концепция российской революции Б.Н. Миронова и в чем видятся ее слабые места, чтобы попытаться предложить иной ракурс исследования аграрной эволюции России.

1

Образ царской России в последний период ее существования, рисуемый Б.Н. Мироновым, — это нормальная, а не какая-то особенная или исключительная страна, страна именно европейская, а не азиатская, развивающаяся так же или почти так же быстро и успешно, как и ее западные соседи в Европе. Период от отмены крепостного права до революции, или, по крайней мере, до начала Первой мировой войны, Миронов называет «экономическим чудом»: «В России после отмены крепостного права произошло настоящее экономическое чудо. Экономика стала рыночной: экономические решения принимались индивидуально (бизнесменами, торговцами, сельскохозяйственными производителями), цены устанавливались в результате действия стандартных рыночных механизмов. В 1861–1913 гг., за 52 года, национальный доход увеличился в 3,84 раза, а на человека — в 1,63 раза, индекс человеческого развития — с 0,171 до 0,308. Душевой прирост объема производства равнялся 85% от среднеевропейского. С 1880-х гг. темпы экономического роста стали выше не только среднеевропейских, но и «среднезападных». Национальный доход возрастал на 3,3% ежегодно — это... только

на 0,2% меньше, чем в США, — стране с самыми высокими темпами развития в мире. Развивались все отрасли народного хозяйства, хотя и в разной степени. Наибольшие успехи наблюдались в промышленности. Однако и сельское хозяйство, несмотря на институциональные трудности, прогрессировало среднеевропейскими темпами. Но главное чудо состояло в том, что при высоких темпах роста экономики и населения происходило повышение его благосостояния .... В пореформенный период был достигнут значительный прогресс не только в экономике, но во всех сферах жизни» (Миронов, 2012а: 659). И т. д.

На аргументацию такого рода можно возразить, что высокие темпы роста отражают эффект низкой базы. Однако для нашей темы важнее, не останавливаясь на этом моменте дискуссии, перейти к анализу причин революции в концепции Миронова. Итак, по его мнению, быстрый рост и успешное развитие всех сфер экономики и общества свидетельствуют о том, что «русские революции начала XX века произошли не по социально-экономическим, а по политическим и культурологическим причинам» (Миронов, 2014: 128). Каким именно? Сформулировать это не так просто, поскольку при изложении позитивных ответов позиция историка от работы к работе меняется.

В одной из работ исследователь рассмотрел целый ряд социологических концепций (марксистско-ленинская, мальтузианская, структурно-демографическая, просто структурная, политические, психосоциальные, институциональная) и решительно отдал предпочтение институциональной концепции, которая «удачно синтезирует все вышеперечисленные концепции революции и хорошо объясняет происхождение Русской революции 1917 года» (Миронов, 2012а: 635). Главное, указывал он, с ее помощью можно объяснить, каким образом «быстрый экономический рост является важнейшей предпосылкой революции» (Там же: 632). Логика этого объяснения проста: быстрый экономический рост нарушает стабильность, приводит общество в движение, чем создает риски социальных взрывов. Миронов формулирует это таким образом: «Бурный экономический рост и всесторонняя трансформация российского социума создали высокий накал социальной напряженности в обществе и ввели страну в зону риска. Реформы «сверху» устраняли один за другим мешавшие модернизации ограничители, встроенные в традиционную институциональную систему (круговую поруку, мещанские общества и цехи, передельную общину, сословные ограничения социальной мобильности, монополию коронной бюрократии и монарха на власть, законы, ущемлявшие гражданские права, и т. д.), и тем самым создавали возможность избежать революции. Поскольку смена институциональных систем — длительный, болезненный и противоречивый процесс, для выхода из зоны риска требовалось значительное время — хотя бы лет двадцать, как говорил П.А. Столыпин, социального покоя. Но этому поме-

шала война, нарушившая эволюционный путь развития. Тяготы войны, помноженные на безответственное поведение либеральных и революционных элит и ослабление государственной власти, оказались непереносимыми для общества» (Там же: 635). Если вдуматься, то данная теория объясняет модернизацию России через институциональные трансформации, но она не объясняет причины революции. В самом деле, согласно Миронову, если бы не было войны, институциональные изменения продолжались бы путем реформ, стимулируя модернизацию и не вызывая никакой необходимости в революции. Следовательно, конечной причиной российской революции здесь признается война, которая застала страну на стадии глубокой институциональной трансформации и «нарушила эволюционный путь развития». Однако для объяснения возникновения Первой мировой войны, ее характера, длительности и глубины воздействия на российское общество институциональная теория совершенно не пригодна. Война явилась событием случайным по отношению к институциональной трансформации и никак с ней не связанным.

В более поздней книге Миронов, говоря о предпосылках революции, уже не ссылается на институциональную концепцию, апеллируя к теории модернизации. «Как неоспоримые успехи страны совместить с ростом в эти годы недовольства и оппозиции режиму, с развитием всякого рода протестных движений, которые в конечном счете привели к революции 1917 года? — спрашивает он и сам же отвечает: — Современная теория модернизации объясняет этот парадокс. Как и в других странах второго эшелона модернизации, ее ускоренное, а в ряде случаев и преждевременное проведение потребовало больших издержек и даже жертв — например, со стороны помещиков, у которых государство принудительно экспроприировало землю, хотя и за компенсацию. Это привело к лишениям и испытаниям для отдельных групп россиян и не принесло равномерного благополучия сразу и всем. Велики оказались и побочные негативные последствия модернизации — увеличение социальной и межэтнической напряженности, конфликтности, насилия, девиантности во всех ее проявлениях — от самоубийства до социального и политического протеста. Необыкновенный рост всякого рода протестных движений порождался, с одной стороны, дезориентацией, дезорганизацией и социальной напряженностью в обществе, с другой — полученной свободой, ослаблением социального контроля и возросшей социальной мобильностью, с третьей — несоответствием между потребностями людей и объективными возможностями экономики и общества их удовлетворить. Общество испытало так называемую *травму социальных изменений, или аномию успеха* (здесь и далее курсив автора. — *И.К.*)» (Миронов, 2015: 689–690). Таким образом, согласно данной трактовке, модернизация России травмировала общество, породила в стране аномию, то есть состояние запутанности и дезориентации, которое,

в свою очередь, привело к революции. При этом автор настаивает, что модернизация была «неоспоримо» успешной. Однако, с другой стороны, тут же добавляет ряд дополнительных характеристик, которыми подчеркивает специфику российской модернизации: страна была «второго эшелона», сама модернизация была «ускоренной» и даже «преждевременной», хотя и не вся, а лишь «в ряде случаев». В итоге читателю остается не ясным: явилась ли революция вследствие успехов модернизации или вследствие ее особенностей на российской почве? И надо ли сделанные автором оговорки понимать так, что если бы модернизация в России началась попозже и проводилась в более медленном темпе, то общество не впало бы в аномию, и не произошло бы революции? Наконец, можно было бы спросить: если жертвы на алтарь модернизации принесли помещики, то почему восстали крестьяне?

Автор не ставит таких вопросов, но снова вводит в свое объяснение фактор мировой войны и как бы попутно отмечает и другие факторы: «В тот момент, когда на страну обрушилось тяжелейшее испытание Первой мировой войной, модернизация была далека от завершения. Насущные болезненные российские общественные проблемы: аграрная, рабочая и этноконфессиональная, социально-экономическое неравенство, культурный раскол общества, низкий уровень жизни, несмотря на его повышение, — оказались еще нерешенными» (Там же: 690). Таким образом, начав с заявления, что возникновение революции можно объяснить теорией модернизации, Миронов в итоге констатировал, что модернизация в России, хотя и шла неоспоримо успешно полвека, осталась незавершенной, потому что была прервана Первой мировой войной, и в стране остались нерешенными целый ряд насущных общественных проблем, которые должна была, но не успела решить модернизация. Если быть последовательным, то надо признать, что в таком случае объяснением революции выступает или война, или комплекс нерешенных общественных проблем, и теория модернизации, вопреки исходной посылке, не объясняет происхождение революции.

Показательным в этом отношении является следующее рассуждение историка: «...Социально-экономический и политический строй, сложившийся в России в результате Великих реформ 1860–1870-х годов и реформы 1905 года (в его основе лежали частная собственность, рыночная экономика, развивавшиеся гражданское общество и правовое государство), обеспечивал хорошие возможности для всестороннего прогресса России. Для полного успеха нужны были только время и мир ... Однако мирное развитие страны прервали Русско-японская война и Первая русская революция 1905 года, а затем Первая мировая война и Вторая русская революция 1917 года. Тяготы последней оказались столь значительными, что российскому обществу, переживавшему процесс модернизации, не удалось с ними справиться» (Там же: 541). Революции вместе с войнами рассматриваются здесь как случайные, сугубо

внешние по отношению к процессу модернизации явления, которые обрушивались на Россию наподобие землетрясений или метеоритов. Процесс модернизации не имел к ним никакого отношения, кроме того что они его прерывали. Если же говорить о причинах революции, то они снова сводятся к «тяготам» войны, с которыми России не удалось справиться.

На этой точке зрения Миронов, однако, не удержался и в последние годы подверг ревизии тезис о «тяготах» войны. Согласно его новейшим работам, «во время войны не возникло непреодолимых объективных предпосылок для революции» (Миронов, 2017б: 709). Под объективными имеются в виду экономические. Экономика, по его убеждению, функционировала успешно вплоть до свержения монархии, а настоящий экономический кризис начался лишь после революции и был обусловлен ею: «В годы Первой мировой войны 1914–1916 годов правительство и предприниматели сумели перевести российскую экономику на военные рельсы в соответствии с новыми требованиями и потребностями. Эта адаптация стала возможной благодаря успешному развитию России в довоенный период. После свержения монархии начался тотальный экономический кризис, который усилился после захвата власти большевиками и к 1920 году достиг своего апогея» (Миронов, 2017б: 694). «Не чрезвычайные трудности породили революцию, а революция породила чрезвычайные трудности», — так звучит его новый тезис (Миронов, 2017 б: 709).

Существенных проблем, связанных с войной, в России, оказывается, не было или они успешно решались: «Уровень жизни до 1917 года поддерживался на довоенном уровне» (Там же). В течение Первой мировой войны «в сельском хозяйстве положение можно оценить как нормальное: оно развивалось так же, как до войны, испытывая сильное влияние погоды» (Миронов, 2017а: 467). В особенности Миронов акцентирует внимание на прогрессе животноводства: «Об отсутствии признаков кризиса в сельском хозяйстве до 1917 года говорит беспрецедентный рост поголовья скота. <...> Число лошадей в 1916 году сравнительно с 1913 годом на сопоставимой территории увеличилось на 4%, несмотря на большие реквизиции <...> крупного рогатого скота — на 20% и мелкого — на 45%» (Там же: 468). Последние цифры невозможно оставить без комментария, хотя анализ статистики в принципе выходит за рамки данной статьи. Поголовье скота 1916 года Миронов дал по сельскохозяйственной переписи 1916 года, тогда как цифры довоенного времени — по текущей административной статистике. Эти данные несопоставимы, и этот вопрос уже подробно рассмотрен в историографии (Вайнштейн, 1960; Нефедов, 2011).

Итак, отбрасывая одно за другим все объяснения причин революции, которые могли бы быть как-либо связаны с экономическим развитием царской России, Миронов четко артикулирует лишь субъективные и социально-психологические факторы. Говоря о со-

циально-психологических факторах, он особенно выделяет феномен относительной депривации. За этим сложным термином скрывается простое явление: «Рост потребностей постоянно обгонял достигнутый уровень жизни. Все слои постоянно хотели больше того, что реально возможно было иметь при тогдашних экономических и финансовых ресурсах, низкой культуре и невысокой производительности труда» (Миронов, 2012а: 642). В другой публикации, воспроизводя этот же пассаж, историк после слов «все слои населения» добавляет характерное уточнение: «и интеллигенция в наибольшей степени» (Миронов, 2012б: 89).

Ведущую роль в объяснении революции Миронов отводит действиям оппозиции. Порой он, кажется, готов вообще свести к этому все причины революций: «Причины русских революций начала XX века лежали в сфере политики, в борьбе за власть между либеральной и революционной оппозицией и монархией» (Миронов, 2014: 128). Распространение в массах оппозиционных и революционных настроений, забастовок и протестного движения видится следствием исключительно искусных пиар-технологий, применявшихся революционерами (Миронов, 2012а: 610–620). Так, говоря о сборе пожертвований для помощи голодающим и изучении причин неурожаев, Миронов интерпретирует их как «резонансные PR-ходы» неких «либералов» (Там же: 613); «дело Бейлиса» — «тоже PR-ход», использованный для «осуждения российских властей во всемирном масштабе» (Там же: 614). Перечисляя сдвиги в общественных настроениях в годы Первой мировой войны, Миронов также подводит под них свою интерпретацию: «Политической элите с помощью прессы удавалось манипулировать настроениями народа...» (Там же: 617) и т. д.

Подобные утверждения, если они делаются в научной работе, нуждаются в доказательствах, которых Миронов не приводит. Политологическая составляющая его концепции вообще очень слаба, по существу, она представляет собой набор авторских интерпретаций известных исторических фактов, которые, если их собрать вместе, складываются в достаточно стройную консервативно-монархическую идеологию. В которой социальный и политический протест видится лишь разновидностью девиантного поведения (см. цитированное выше: «девиантность во всех ее проявлениях — от самоубийства до социального и политического протеста»), а не одним из базовых прав граждан демократического государства. Идеология, как известно, не требует доказательств. Предположение, что не «элиты», «либералы», оппозиционеры и революционеры манипулировали массовым сознанием, а, наоборот, сама позиция «элиты», «либералов», оппозиционеров и революционеров могла быть обусловлена настроениями масс, в работах Миронова, кажется, вообще не рассматривается. Народ, массы и общественное сознание в его дискурсе выступают всегда объектом, но не субъектом политики. Его идея проста: народ стоял вне политики и поддерживал

монархию, а революционеры своим антиправительственным пиаром его смущали, в итоге «оппозиция оказалась искусней и успешней и выиграла информационную войну» (Там же: 615). Тот же тезис повторяется и в новейших его работах: «С помощью четкого и продуманного общения с властями, посредством поддержания связей со всеми социальными группами и умелой манипуляции общественным мнением оппозиция создала в стране атмосферу экономического и политического кризиса, подготовила почву для революции, завоевала сердца и умы людей и вывела народ на улицы в решающий момент, воспользовавшись недовольством, вызванным войной» (Миронов, 2017б: 709–710). Кризиса не было, но оппозиция создала «атмосферу кризиса»...

Основной недостаток такого рода объяснений в том, что если важнейшей причиной революции считать деятельность революционеров, то вместо объяснения мы получаем тавтологию. Слабость этого подхода наиболее заметна при обращении к аграрно-крестьянским сюжетам российских революций.

2

Аграрная революция была неотъемлемой частью российской революции. За этим термином стоит целый комплекс исторических событий и процессов. Для периода осени 1917 — зимы 1918 года это, как правило, отказ крестьян от уплаты налоговых, арендных и прочих платежей, коллективные захваты частновладельческих земель, поместий, разгромы и разграбление дворянских усадеб, раздел между крестьянами помещичьего скота, инвентаря, семян, прочего сельскохозяйственного и бытового имущества. С этого же момента и до начала 1920-х годов происходил так называемый черный передел — уравнительный передел крестьянскими общинами земель, как бывших частновладельческих, так и надельных, в итоге которого был уничтожен сектор крупных частных и арендаторских хозяйств, и утвердилось господство мелкого семейно-трудового (трудопотребительского) хозяйства с общинным чересполосным землепользованием. Итоги аграрной революции были зафиксированы рядом законодательных актов — «Декрет о земле», «Основной закон о социализации земли», Земельный кодекс 1922 года, — узаконивших трудовое право пользования землей, принципы уравнительного наделения и фактическую национализацию земли.

Для большинства современников и всех объективных исследователей, независимо от их политических взглядов, было очевидно, что результаты аграрной революции отражали давние стремления огромных масс крестьян, пытавшихся упрочить положение собственных хозяйств теми средствами, которые им подсказывали традиционные крестьянские представления о мироустройстве и принципах хозяйствования. Эти представления были утопичны,

но эта утопия была именно крестьянской. Попытки отыскать побудительные мотивы крестьянского движения вовне, в революционной пропаганде либералов и социалистов не находят эмпирического подтверждения в источниках. По данной теме существует огромное количество литературы, напомню лишь выводы наиболее значительных работ.

Специальное исследование О.Г. Буховца было посвящено изучению политического сознания крестьянства в годы первой российской революции и в период до Первой мировой войны по материалам крестьянских приговоров и наказов депутатам Думы, а также крестьянских протестных акций. Работа строилась преимущественно на источниках Воронежской, Самарской губерний и Белоруссии и на количественных методах анализа источников (Буховец, 1996). Выводы автора оказались однозначными. Для периода 1905–1907 годов он признал «совершенно бесспорным “почвенный” характер приговоров и наказов» и особенно подчеркнул, что «эта почвенность — *политична*» (Там же: 227). Мнение, что крестьяне не имели собственных политических целей, историк называл «курьезным». Для периода 1907–1914 годов он констатировал: «...Удивительно низким оказался выявленный коэффициент эффективности революционной пропаганды в деревне: реальное крестьянское движение подпитывалось собственными мотивами. Мотивации, предлагавшиеся агитаторами, как правило, не воспринимались крестьянами. Вот почему в рассматриваемое семилетие политическая пропаганда и агитация, с одной стороны, и крестьянское движение, с другой, вновь, как и в предреволюционный период, стали сосуществовать практически параллельно, почти не пересекаясь» (Там же: 326–327).

Возможно, менее доказательна работа О.А. Суховой, построенная на менее строгих, описательных методах анализа источников, однако огромное количество собранных в ней сведений о крестьянском движении в Среднем Поволжье в начале XX века подтверждает интерпретацию крестьянского участия в революциях как порождаемого внутренними причинами и автономного по отношению к внешним пропагандистским воздействиям (Сухова, 2008). Стихийность крестьянского движения во время революции не означала его беспорядочности и анархии, крестьяне на локальном уровне проявляли способность к самоорганизации. Механизмом самоорганизации выступала община. Агитация и пропаганда со стороны активистов различных политических партий, безусловно, присутствовала в деревне, но крестьяне воспринимали из речей агитаторов лишь то, что хотели услышать, чересчур радикальных и зовущих крестьян не туда, куда они считали нужным, толпа могла избить и сдать полиции. Подлинные лидеры протеста выдвигались из деревенской среды. Погромы помещичьих усадеб совершались крестьянами коллективно и находили свое идейное оправдание в глубинных пластах крестьянского сознания, а не в политической агитации извне.

Заслуживает внимания исследование, проделанное коллективом историков, о численности местных организаций политических партий в России в 1905–1907 годах (Киселев, Корелин, Шелохаев, 1990). В частности, были подсчитаны коэффициенты корреляции между численностью партийных организаций в губерниях Европейской России и различными признаками, характеризующими социальный и экономический облик каждой губернии. С точки зрения обсуждаемого вопроса важно отметить, что коэффициенты корреляции с долей занятых в сельском хозяйстве среди населения губерний оказались отрицательными для всех партий (см. таблицу). При этом коэффициенты корреляции с долей городского населения в губернии оказались положительными. Для черносотенцев (Союз русского народа), численность которых устанавливалась по весьма неполным данным, значения коэффициентов оказались статистически незначимыми, но их знаки — те же, что и у других партий.

Иными словами, чем более урбанизированной была губерния в начале XX века, тем более многочисленными в ней были партийные ячейки всех российских политических партий. И наоборот, чем сильнее в губернии преобладало земледельческое население, тем малочисленнее там были ячейки всех партий. Причем это относится и к партии эсеров, позиционировавшей себя в первую очередь как партия трудового крестьянства. Думается, из этого следует, что политические партии в России вообще были явлением городским, а крестьянство в массе своей стояло вне партийной политики.

Таким образом, убеждение наивных монархистов и чиновников царской полиции, транслируемое сегодня в работах Б.Н. Миронова, что в подготовке и организации революции решающую роль играла «либерально-демократическая общественность», пиар и информационная война, в отношении аграрно-крестьянской составляющей революции является совершенно необоснованным.

Активная роль крестьян и победа крестьянского движения сделали российскую революцию 1917 года непохожей на европейские революции. В исторической концепции Миронова этот вопрос не ставится. Не случайно одна из его статей о российской революции озаглавлена «По классическому сценарию», что уже задает определенный ракурс: исследователь не склонен обсуждать особенности российской революции, отмечая лишь ее общие черты с другими революциями. Как же, по его мнению, выглядит этот «классический сценарий»? «Страна погрузилась в революцию, которая проходила в соответствии с классической моделью — кризис “старого режима”; установление власти “умеренных”; победа радикалов, создающих “царство террора и добродетели”; термидор, или контрреволюционный переворот, и постреволюционная диктатура» (Миронов, 2012 б: 102). В этом «сценарии» в качестве модели использована история Великой французской революции. Многие рос-

Таблица. **Корреляционные связи между численностью партийных организаций и некоторыми факторными признаками**

	РСДРП	Партия социалистов-революционеров	Конституционные демократы	Октябристы	Союз русского народа
Корреляция с долей городского населения в губерниях	0,63	0,76	0,88	0,88	0,06
Корреляция с долей занятых в сельском хозяйстве среди населения губерний	-0,77	-0,75	-0,82	-0,87	-0,14

Источник: Киселев, Корелин, Шелохаев (1990): 80 (строки 3 и 13), 86–87[1].

сийские революционеры, прежде всего сами лидеры большевиков, любили проводить параллели между русской и французской революциями. Однако надо отметить, что в этом сравнении речь идет исключительно о сходстве внешней событийной канвы, исключая из анализа социальное и экономическое содержание, которое у революций французской и российской было различным. Французский термидор покончил с той социальной линией революции, которая в России в результате сталинского «термидора»[2] как раз и стала господствующей. В революциях, происходивших, согласно Миронову, «по классическому сценарию», конечно, бывало немало бунтов, грабежей, конфискаций и переделов имущества, но никогда результатом революции не становилось упразднение собственности. «Классический сценарий», как известно, оканчивался не «Декретом о земле» и тем более не коллективизацией, а «Кодексом Напо-

1. Численность местных партийных организаций авторы брали по 47 губерниям Европейской России (без Прибалтики), при этом РСДРП также без Гродненской и Олонецкой губерний, ПСР — без Подольской и Ярославской губерний, СРН — всего по 37 губерниям.
2. Я не придерживаюсь трактовки установления единоличной власти Сталина как «термидорианского переворота», но в данном контексте готов использовать термин, предлагаемый оппонентами.

леона», провозгласившим неограниченное право частной земельной собственности. Следовательно, революция в России произошла далеко не «по классическому сценарию». Это требует объяснения и снова возвращает нас к вопросу о характере экономического и социального развития России в конце XIX — начале XX века.

Если Россия до 1917 года, как доказывает Б.Н. Миронов, двигалась в том же направлении, развивалась на тех же основах, что и западноевропейские страны, переживала те же процессы в экономике, политике и социальном развитии, не имея качественных отличий, то почему 1917 год смог изменить ее траекторию? Что вывело страну за пределы так называемой западной цивилизации в цивилизацию советскую?

Если революция возникла в тот момент, когда Россия переживала процесс устранения институциональных ограничений, мешавших модернизации, то почему революция не стала ни катализатором, ни продолжением тех институциональных сдвигов, которые наметились и происходили до нее? Ведь европейские революции, известные в XVII–XIX веках, разрушая монархии и феодальное сословное общество, расчищали дорогу для дальнейшего роста рыночных отношений, буржуазного общества и правового строя. Почему российская революция не укрепила, а разрушила рыночную экономику, уничтожила зарождавшиеся основы правового строя и гражданского общества, похоронила право собственности, но при этом реанимировала, казалось, уже умиравшую передельную крестьянскую общину, монополию бюрократии (названную теперь советской) на власть, законы, ущемлявшие и уничтожавшие гражданские права, и т. д., то есть всё то, что, как показано в работах Миронова, уже уходило и чуть ли не ушло в небытие в предреволюционный период?

Очевидно, концепция, согласно которой царская Россия шла европейским путем, в ней происходила модернизация и «экономическое чудо», не охватывает всего спектра проблем и представляется как минимум недостаточной. Прежде всего в эту концепцию плохо укладывается так называемый аграрный вопрос.

3

Отношение Б.Н. Миронова к аграрному вопросу двойственное. С одной стороны, он готов поставить его первым в ряду «насущных болезненных российских общественных проблем» (см. выше), с другой — стремится преуменьшить его значимость. Рассмотрим, как в его концепции трактуются два важнейших элемента этой проблемы: аграрное перенаселение и бедность значительных масс крестьянства накануне революции.

В работах Миронова вообще можно найти немало противоречивых суждений. Одно из таких противоречий касается аграрно-

го перенаселения. Оценки, которые историк дает этому явлению, различаются до противоположности в зависимости от того, в каком контексте оно возникает. Когда историк повествует об успехах дореволюционной модернизации, он утверждает: «...Общего перенаселения в масштабе страны не наблюдалось, а проблема избытка рабочих рук, существовавшая в некоторых местностях, решалась простым переселением и улучшением агротехники» (Миронов, 2012а: 610). Когда Миронову требуется объяснить, почему в период Первой мировой войны мобилизации мужчин-работников в армию не могли подорвать сельскохозяйственное производство, он вспоминает: «Однако до войны в деревне существовало значительное аграрное перенаселение. В 50 губерниях Европейской России оно оценивалось в 52% в 1900 году и в 56% в 1914 году от общего числа рабочих рук, это примерно 23 и 30 млн работников соответственно. Причем дефицит наблюдался во всех губерниях, хотя в разной степени — от 12% в Самарской до 69% в Тамбовской (1900 г.) ... Благодаря этому призванным в армию 47% трудоспособных мужчин нашлась замена» (Миронов, 2017а: 469–470). Здесь историк привлек уже максимальные имеющиеся в литературе оценки масштабов аграрного перенаселения, которые к тому же демонстрируют — вопреки предыдущим его утверждениям — отнюдь не решение, а нарастание проблемы от 1900 к 1914 году.

Наличие взаимоисключающих утверждений, используемых ситуативно, по-видимому, свидетельствует об отсутствии у Миронова сколько-нибудь последовательной позиции в изучении аграрной истории пореформенной России.

В связи с этим стоит и брошенный им вскользь тезис, что «проблема избытка рабочих рук» решается «улучшением агротехники» (Миронов, 2012а: 610). Какого рода улучшения имеются в виду? Все улучшения агротехники, повышающие продуктивность хозяйства за счет повышения производительности труда, не только не решают проблему избытка рабочих рук, но, наоборот, усугубляют ее. Рост производительности труда ведет к высвобождению рабочих рук и увеличению сельской безработицы. Следовательно, в этом утверждении, если быть последовательным, может идти речь лишь о таких изменениях агротехники, которые увеличивают трудозатратность сельского хозяйства. О желательности именно такого рода изменений в конце XIX — начале XX века много писали экономисты народнического направления, называя это повышением трудоинтенсивности и считая его магистральным путем прогресса для крестьянского хозяйства. В этом, во ввязывании все возрастающего количества народного труда в землю, они, между прочим, видели и лучший для России способ избежать пролетаризации деревни и, соответственно, избежать развития индустрии, чтобы не пойти по пути западноевропейских капиталистических стран. В концепции модернизации, которую отстаивает Миронов, такой ход мысли

выглядит противоестественным. Вероятно, его исходный тезис есть лишь небрежная фраза, тиражирующая расхожие заблуждения.

История сельского хозяйства России второй половины XVIII — первой половины XIX века знает множество примеров, когда помещики заводили у себя «улучшения» по самым современным западным образцам, интенсифицировали хозяйства, переходили на многополья и плодосмены, заводили посевы новых культур, закупали сортовые семена, импортный породистый и высокопроизводительный скот, возводили различные хозяйственные постройки, а уж сколько было ввезено новейшей техники... Успех сопутствовал прогрессивным хозяевам не часто, многие впадали в убытки и спустя несколько лет бросали свои «улучшения» или разорялись. Отчасти из-за того, что где-то не учли особенности российских природно-климатических условий, но главным образом потому, что новые технологии не вписывались в рынок. Камнем преткновения оказывался вопрос: как сделать имение с новыми технологиями рентабельным, если его продукция либо не имеет сбыта, либо цены слишком низки? Но ведь тот же вопрос в рыночной экономике, а экономика России конца XIX — начала XX века была именно такой, относится и к крестьянским хозяйствам. И в крестьянском хозяйстве улучшение агротехники может идти лишь в меру расширения ёмкости аграрного рынка. Прогресс агротехники в конечном счете увеличивает объем производимой продукции, и если этот новый объем не находит сбыта по цене, окупающей затраты на улучшение агротехники, сельхозпроизводители несут убытки, а наиболее слабая их часть — разоряется и пополняет ряды экономически избыточного населения страны. «Проблема избытка рабочих рук» в сельском хозяйстве, увы, не решается простым «улучшением агротехники».

Слабость экономической аргументации Миронова проявляется и в подходах к проблеме крестьянской бедности. Обратим внимание, какими показателями исследователь предлагает измерять уровень достатка и экономической силы крестьянского хозяйства? «Лично мне, — пишет он, — трудно считать “влачащими жалкое существование” тех, кто владел домом и хозяйственными постройками, приблизительно 14 га земли на двор из 8 человек, двумя лошадьми (или лошадью и волом), 2–3 головами крупного рогатого скота, 5–6 головами мелкого скота и птицей — таково имущество типичного хозяйства помещичьих крестьян (39% населения страны) в 1860 г., накануне отмены крепостного права, в среднем для Европейской России. После эмансипации величина надела и число скота постепенно уменьшались (вследствие прироста населения), но все равно оставалось значительным. В 1916 г. (согласно сельскохозяйственной переписи) в Европейской России в среднем на крестьянский двор из 5,3 чел. (без учета членов семьи, находившихся в армии) приходилось 9–10 га земли, 1–2 лошади, 2,3 головы крупного рогатого скота, 5 голов мелкого скота и птица. ... Даже хозяйства тех кресть-

ян, которых в советской историографии относили к бедным, имели 5 га посева и 2,8 га прочей удобной земли, лошадь, корову, мелкий рогатый скот и птицу» (Миронов, 2012а: 541–542). Надо отметить, что в советской историографии к бедным относили обычно крестьян безлошадных (в 1912 г. их насчитывалось 31,6% от общего числа дворов) или бескоровных, о существовании которых наш автор здесь не упоминает. Однако его логика ясна: уровень благосостояния и экономической силы крестьянского хозяйства Миронов, как и подавляющее большинство историков, предлагает измерять численностью натуральных элементов хозяйства.

Проблема видится в том, что для оценки состояния хозяйства, работающего в условиях рыночной экономики, и крестьянское хозяйство здесь не исключение, прежде всего имеет значение соотношение доходов и расходов. Целью сельского хозяйства (если, конечно, оно руководствуется собственными интересами, а не указаниями Госплана) не может быть обработка максимально возможной земельной площади, или содержание максимально возможного количества скота, или получение максимально высоких урожаев, надоев и привесов. Цель всякого нормального хозяйства — получение максимального чистого дохода. Не валового, а чистого, за вычетом издержек всех видов. И с этой точки зрения, в отличие от Миронова, я могу себе представить жалкое существование крестьянской семьи из 8 человек даже при наличии 14 га земли и двух лошадей. Хозяйство вообще может быть рентабельным, а может быть убыточным как при 14 га, так и при 10, так и при 100 и т. д.

Вопрос, насколько прибыльно или убыточно хозяйствовали российские крестьяне и помещики в тот или иной период, представляет для историков большую проблему. Отсутствие необходимых источников усугубляется теоретической сложностью задачи: «Вычисление чистой доходности земледельческого предприятия даже капиталистического типа является спорной и сложной задачей благодаря присутствию в балансе натуральных частей и нерыночных продуктов», — отмечал еще Л.Н. Литошенко (Литошенко, 1923: 30). Такую задачу применительно к периоду конца XIX — начала XX века историки в принципе ставили, но не Миронов и другие сторонники «новых» подходов, а, как ни странно, их оппоненты, остававшиеся на позициях марксистской политэкономии (Островский, 2013).

Характерную иллюстрацию неэкономического мышления в области аграрной истории дает следующее рассуждение Б.Н. Миронова: «Низкое потребление, или низкое благосостояние... являлось не следствием бедности как таковой, а результатом неэффективного использования имевшегося значительного имущества. Если бы крестьяне работали в полную меру своих сил, используя все рабочее время, их уровень жизни был бы, несомненно, более высоким. Однако даже в начале XX века в крестьянском хозяйстве норма напряжения труда, или, по выражению А.В. Чаянова, “степень

самоэксплуатации", или доля рабочих дней в году, не превышала 50%» (Миронов, 2012а: 542). Поставим здесь несколько простых вопросов. Что значит работать «в полную меру своих сил»? До физического истощения? Где должны были работать те крестьяне, у которых размер хозяйства был слишком мал, чтобы задействовать весь запас их труда, а возможности промысловых заработков отсутствовали? Может быть, историк считает, что крестьяне могли увеличивать трудозатраты на единицу площади в своем хозяйстве? Но где расчеты, доказывающие, что увеличение трудозатрат окупилось бы при экономических условиях данного времени и места? Или крестьяне должны были максимизировать продукцию, работая себе в убыток? С какой стати, если они были не крепостные? И главное, почему историк считает, что крестьяне сами не могли адекватно определять «норму напряжения труда» в своем хозяйстве?

Упомянутый Мироновым А.В. Чаянов как раз придерживался мнения, что крестьяне это определять умели, и пытался построить модель крестьянского хозяйства с точки зрения оценки трудозатрат. Модель трудопотребительского баланса Чаянова предполагала, что крестьянин-работник в своем хозяйстве балансирует меру затрат своего труда с мерой удовлетворения своих (и своей семьи) потребностей. Крестьянин, согласно этой модели, трудится не до достижения максимальной выработки, то есть полного исчерпания своих сил, и не до того момента, как будут удовлетворены минимально необходимые жизненные потребности, а до того момента, когда, с его точки зрения, тягостность дальнейших трудозатрат сравняется с субъективной оценкой полезности произведенной этими трудозатратами прибавки дохода. Из этого следует, что если крестьяне останавливают или даже сокращают трудовые усилия, значит, они не видят смысла трудиться больше. Это не значит, что потребности крестьян полностью удовлетворены, и они не нуждаются в увеличении дохода. Это значит, что они видят, что ценность потенциально возможного более высокого дохода неадекватна усилиям, которые им необходимо затрачивать на его получение.

Историк, конечно, может считать, что крестьяне ошибались, что «на самом деле» им не хватало предприимчивости, капиталистического менталитета, что они жили в плену традиций, мешавших стремиться к обогащению, или в плену мифов народнической пропаганды, или они были просто лентяи и пьяницы и т. п. Примерно так, судя по всему, считает Миронов и многие его последователи. Однако представляется более конструктивным для исследователя поставить вопрос иначе: приняв факт остановки роста трудовых усилий крестьян как результат рационального экономического выбора хозяйствующего субъекта, действующего в парадигме оптимизации трудозатрат, попытаться найти ему объективное объяснение. Возможно, за этим явлением обнаружатся некие институциональ-

ные и/или рыночные ограничения, препятствовавшие экономическому росту, увидев которые мы должны будем скорректировать картину изучаемого периода истории.

4

Итак, в современной историографии сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, остается факт начавшейся в 1917 году в России революции, в которой участвовали миллионные массы городских и деревенских низов, решительно недовольных существовавшим положением дел. Социальный взрыв был настолько силён, что власть в стране в ходе Гражданской войны перешла в руки радикальных социалистов, создавших новое государство, в котором на протяжении нескольких следующих десятилетий сознательно и целенаправленно уничтожались базовые основы современной западной цивилизации: рынок, право, частная собственность, гражданское общество — как автономные от государственной власти сферы человеческих взаимоотношений. С другой стороны, новейшими трудами историков воссоздана картина впечатляющих успехов поздней Российской империи в области экономического, политического и социального развития в русле западной цивилизации, которые всячески преуменьшались прежней историографией. И в этой новой картине, кажется, нет и не может быть места для революции 1917 года, ее остается разве что выбросить из истории и забыть, сделав вид, что советское государство лишь продолжало «модернизацию», начавшуюся в царской России.

Можно ли совместить и осмыслить в рамках единой концепции эти две картины российской истории конца XIX — начала XX века: успешную модернизацию и одновременное нарастание социальных предпосылок глубокого, реакционного по своей сущности переворота? Думается, такая возможность откроется, если продолжить исследования феномена аграрного перенаселения, углубляя его экономический аспект.

В историко-аграрных исследованиях до сих пор преобладает демографический аспект проблемы: рост крестьянского населения в земледельческом центре России к концу XIX века привёл к нехватке земли для сохранения крестьянского хозяйства с традиционной технологией (и традиционным экономическим менталитетом), подразумевающей зерновую специализацию и паровую трехпольную систему земледелия. То есть аграрное перенаселение сводилось к малоземелью. Большинство учёных-современников полагали, что единственная разумная перспектива развития состояла в интенсификации хозяйства, которую они и пропагандировали среди крестьян. Большинство крестьян неохотно прислушивались к этим рекомендациям, при всяком удобном случае выступая за «черный передел», — в 1905 году неудачно для себя, в 1917 году удачно. Пы-

таясь объяснить слабые успехи учёных-агрономов у крестьянской аудитории, многие исследователи писали об особом крестьянском менталитете, специфику которого следует искать то ли в религии, то ли в теории Чаянова.

Между тем в конце XIX — начале XX века наиболее активное аграрное развитие демонстрировал не земледельческий центр, а окраинные регионы, расположенные на юг и восток от него. Именно их показатели создают ту благоприятную среднестатистическую динамику, которую сегодня выставляют на передний план историки российской модернизации как свидетельство общего роста аграрного производства страны, опережавшего рост населения. Растущее зерновое производство в черноземно-степных районах имело очевидные преимущества: целина давала более высокую урожайность при минимальных затратах на обработку (на единицу площади) и еще не требовала затрат на удобрения, свойства почвы и климата позволяли выращивать более дорогие сорта хлебов (прежде всего пшениц и ячменей) и масличных культур, близость южных регионов к черноморским портам и строящиеся железные дороги снижали издержки транспорта и удешевляли сбыт, более свободный режим землепользования и рынок земли позволяли при наличии капитала выстраивать здесь хозяйства оптимальной (с точки зрения получения прибыли) площади, где в условиях нехватки работников стала широко использоваться новейшая уборочная техника, паровые машины, то есть работал капитал, и происходила капиталоинтенсификация. Историки-марксисты недаром писали о наличии в России американского пути развития, однако неверно распространять эту модель на всю Россию.

Природно-географические и институциональные преимущества районов новой земледельческой колонизации с экономической точки зрения означали прежде всего более низкую, чем в старом земледельческом центре, себестоимость зернового производства. Этот вопрос еще подлежит исследованию, но в качестве гипотезы можно высказать следующий тезис: быстро растущий объем зернового производства в регионах с низкими издержками понижал средние цены производства и тем самым выступал одним из главных факторов, тормозивших интенсификацию в районах с высокими издержками. Интенсификация сельского хозяйства, как известно, есть увеличение затрат всех факторов производства на единицу земельной площади. В рыночной экономике она возможна лишь в той мере, в какой доход от добавочно произведенной продукции превышает добавочные затраты плюс процент на капитал. Давала ли интенсификация в хозяйстве центрально-черноземных и нечерноземных губерний необходимую прибыль? — этот вопрос представляется центральным для изучения аграрной истории пореформенной России, особенно рубежа XIX — начала XX века.

Весьма вероятный отрицательный ответ откроет новые вопросы: о достижении крестьянским хозяйством многих земледельче-

ских районов Центральной России в этот период некоего предела производительности труда, при котором дальнейшее повышение трудозатрат уже не окупалось; о нарастающей экономической бесперспективности крестьянского хозяйства как типа — мелкого, семейно-трудового и трудопотребительского — неспособного (экономически, а не технически) выйти за рамки традиционной технологии земледелия. Аграрное перенаселение будет выглядеть не только как крестьянское «малоземелье» или лень и праздность, но как превращение все большей массы крестьян в экономически лишних людей, не имеющих возможности прибыльного приложения своего труда в сельском хозяйстве при данных рыночных и институциональных условиях.

Б.Н. Миронову и другим историкам «оптимистического» направления прогресс агротехники и соответствующий рост объемов сельскохозяйственного производства, наблюдаемый по среднероссийским данным, видится однозначным индикатором роста благосостояния крестьян и всех россиян. Это упрощение, забывающее, что прогресс чреват таким явлением, как кризис относительного перепроизводства продукции. Прогресс сельского хозяйства в условиях аграрной страны с громадным преобладанием в ее социальной структуре сельского сельскохозяйственного населения, а в структуре производства — мелкого крестьянского хозяйства, при наличии уже достаточно развитых рыночных отношений, очевидно, должен вести к разорению слабейшей части сельхозпроизводителей, не выдерживающих конкуренции, и к нарастанию аграрного перенаселения с сопутствующими ему социальными проблемами.

В историческом исследовании, конечно, неправильно вести речь о России вообще и о крестьянском хозяйстве в его среднестатистическом виде. Следует ставить вопросы, в каких регионах и в каких социальных стратах сельского населения хозяйственный прогресс приводил к повышению производительности хозяйства и действительному улучшению условий жизни, а в каких — к вытеснению хозяйств из сферы рынка и к маргинализации крестьян? В какие периоды и в каких регионах проблема аграрного перенаселения сглаживалась и решалась, а в каких — нарастала и обострялась? Каковы были глубина, масштабы, скорость этих процессов?

В частности, можно предполагать, что рост производства хлебов в районах с дешевыми факторами производства и меньшими институциональными ограничениями, по-видимому, делал аналогичную продукцию крестьян старого земледельческого центра все менее и менее конкурентоспособной и в конечном счете лишней на рынке, а вместе с тем — лишними в пространстве рыночной экономики и самих этих крестьян, хозяйство которых было обречено ориентироваться лишь на самопрокормление. Более крупные частновладельческие хозяйства этих районов, имевшие потенциал интенсификации и рыночного роста, в условиях нараставшего избытка предложения труда все более лишались стимулов к технологиче-

ской модернизации и постепенно поглощались окрестными крестьянами, арендовавшими у них землю.

Консервации аграрного перенаселения до революции 1905 года содействовало и правительство, сохранявшее архаичные институты социального контроля над крестьянством и социальной мобильностью: общину, «приписку» крестьян к сельским обществам, круговую поруку, особый правовой статус надельного землевладения, выключенного из сферы земельного рынка и норм частной собственности, особые режимы землевладения в национальных, казачьих и окраинных регионах, ограничивающие переселения земледельцев, и другую сословную специфику крестьян. Сохранение институтов феодального общества, несомненно, препятствовало и структурной перестройке сельского хозяйства, и перестройке крестьянского менталитета, и необходимому выходу неконкурентоспособной части крестьян из сферы сельского хозяйства. Первая российская революция показала правительству, что эти институты плохо работают по своему прямому назначению. С этой точки зрения, столыпинская реформа видится необходимой и прогрессивной, но явно запоздалой попыткой правительства снять с российской деревни институциональные ограничители экономического роста. Как считал ее инициатор, для успеха реформы требовалось двадцать лет «покоя внутреннего и внешнего». Как известно, история имела в запасе лишь семь таких лет. Следовательно, реформа запоздала как минимум на тринадцать лет. Примечательно, что все эти тринадцать лет, которых не хватило реформам, правящие круги усердно и бессмысленно растрачивали силы на укрепление самодержавной вертикали власти, дворянства и официальной церкви, на систематическое подавление политической активности интеллигенции, начиная с гимназической скамьи, и на реализацию геополитических фантазий имперской элиты.

Революция 1917 года продемонстрировала прежде всего огромный разрушительный потенциал, накопленный в российской деревне. Миллионы солдат — крестьян, одетых в солдатские шинели, уставших от войны, стали детонатором социального взрыва, разрушившего и фронт, и тыл. Аграрная революция, по существу, стала отчаянной попыткой крестьян сделать доступ к основному фактору сельскохозяйственного производства — земле — бесплатным, а режим доступа привести в соответствие с традиционным крестьянским менталитетом, чтобы в конечном счете сохранить то самое семейно-трудовое хозяйство с традиционной технологией, производящей хлеб, которому не оставалось места на аграрном рынке. Объективно происходившее в годы войны разрушение нормально функционирующего рынка, безусловно, способствовало удаче этого предприятия.

Так действительно ли нам стоит изучать историю пореформенной модернизации России, «забыв о печальном конце, наступившем в 1917 году»? Может быть, мы лучше поймем историю, если будем помнить, чем она заканчивалась?

Буховец О.Г. (1996). Социальные конфликты и крестьянская ментальность в России в начале XX в. М.: Мосгорархив.

Вайнштейн А.Л. (1960). Из истории предреволюционной статистики животноводства: О численности поголовья скота и изменениях ее в годы Первой мировой войны // Очерки по истории статистики СССР. Сб. III. М.: Госстатиздат. С. 86–115.

Киселев И.Н., Корелин А.П., Шелохаев В.В. (1990). Политические партии в России в 1905–07 гг.: численность, состав, размещение // История СССР. № 4. С. 71–87.

Литошенко Л.Н. (1923). Эволюция и прогресс крестьянского хозяйства. М.: Русский книжник.

Миронов Б.Н. (2012а). Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII — начало XX века. 2-е изд. М.: Весь Мир.

Миронов Б.Н. (2012б). По классическому сценарию: Русская революция 1917 года в условиях экономического роста и повышения уровня жизни // Экономическая политика. № 1. С. 66–77; № 2. С. 84–105.

Миронов Б.Н. (2014). Какая дорога ведет к революции? Имущественное неравенство в России за три столетия // Социологические исследования. № 8. С. 96–104; № 11. С. 121–129.

Миронов Б.Н. (2015). Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб.: Дмитрий Буланин.

Миронов Б.Н. (2017а). Достижения и провалы российской экономики в годы Первой мировой войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. Т. 62. Вып. 3. С. 463–480.

Миронов Б.Н. (2017б). Погрузившая в смуту и укравшая победу революция // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. Т. 62. Вып. 4. С. 693–716.

Нефедов С.А. (2011). Уровень потребления в России начала XX века и причины русской революции. Статья вторая // Общественные науки и современность. № 3. С. 97–111.

Островский А.В. (2013). Зерновое производство Европейской России в конце XIX — начале XX в. СПб.: Полторак.

Сухова О.А. (2008). Десять мифов крестьянского сознания: Очерки истории социальной психологии и менталитета русского крестьянства (конец XIX — начало XX в.) по материалам Среднего Поволжья. М.: РОССПЭН.

The agrarian revolution of 1917 in Russia: Is it worth studying economic history and forgetting the sad end?

Igor A. Kuznetsov, PhD (History), Senior Researcher, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. 119571, Moscow, prosp. Vernadskogo, 82. E-mail: repytwjd68@mail.ru

The article considers the possible further studies of the economic history of agriculture and the peasantry of the Russian regions in 1861–1914. The author analyzes the theory of Russian revolutions developed by Boris Mironov and identifies logical contradictions in his argumentation. This theory overvalues the significance of random and subjective factors and underestimates the agrarian overpopulation and economic contradictions determined by the agrarian development. The author's criticism of the "optimistic" paradigm in the economic history of post-reform Russia outlines the objectives of the study of agricultural development and its social consequences for the peasantry. The article proposes to discuss the idea that economic progress and growth of agricultural production in the Black-Earth regions of the South and South-East with their low production costs were the key factors of the crisis due to the relative overproduc-

tion of grain in Russia. Many small peasant farms in the old agricultural center could not compete in the grain market and, thus, were pushed out of it and marginalized, reinforced the natural-consumer activities and lost incentives for intensification of production. Market restrictions determined by the overproduction of grain became an important factor of agrarian overpopulation in the central regions. Institutional constraints that existed long before the Stolypin reform were aggravated by agrarian overpopulation that also created the social base for revolution. The agrarian revolution of 1917 was to strengthen the position of the family-labor economy by eliminating payment for the access to land as the main factor of production.

Key words: history of Russian revolutions, agrarian revolution, agrarian overpopulation, peasant economy, modernization, B.N. Mironov

References

Bukhovets O.G. (1996) *Socialnye konflikty i krestjanskaja mentalnost v Rossii v nachale XX v.* [Social Conflicts and Peasant Mentality in Russia in the Early 20th Century], Moscow: Mosgorarkhiv.

Weinstein A.L. (1960) Iz istorii predrevoljutsionnoj statistiki zhivotnovodstva: O chislennosti pogolovja skota i izmenenijah ee v gody Pervoj mirovoj vojny [From the history of pre-revolutionary statistics of livestock: The number of livestock and its changes during the First World War]. *Ocherki po istorii statistiki SSSR*. Sb. III. Moscow: Gosstatizdat, pp. 86–115.

Kiselev I.N., Korelin A.P., Shelokhaev V.V. (1990) Politicheskie partii v Rossii v 1905–07 gg.: chislennost, sostav, razmeshchenie [Political parties in Russia in 1905–1907: Its number, composition, and location]. *Istorija SSSR*, no 4, pp. 71–87.

Litoshenko L.N. (1923) *Evoljutsija i progress krestjanskogo khozjajstva* [Evolution and Progress of the Peasant Economy], Moscow: Russky knizhnik.

Mironov B.N. (2012a) *Blagosostojanie naselenija i revoljutsii v imperskoj Rossii: XVIII — nachalo XX veka* [Population Welfare and Revolutions in Imperial Russia: 18th — Early 20th Century], Moscow: Ves Mir.

Mironov B.N. (2012b) Po klassicheskomu stsenariju: Russkaja revoljutsija 1917 goda v uslovijah ekonomicheskogo rosta i povyshenija urovnja zhizni [The classical scenario: The Russian revolution of 1917 under the economic growth and improving living standards]. *Ekonomicheskaja Politika*, no 1, pp. 66–77; no 2, pp. 84–105.

Mironov B.N. (2014) Kakaja doroga vedet k revoljutsii? Imushchestvennoe neravenstvo v Rossii za tri stoletija [What road leads to revolution? Three centuries of the income inequality in Russia]. *Sociologicheskie Issledovanija*, no 8, pp. 96–104; no 11, pp. 121–129.

Mironov B.N. (2015) *Rossijskaja imperija: ot traditsii k modernu* [Russian Empire: From Tradition to Modernity]: in 3 vols. Vol. 3, Saint Petersburg: Dmitry Bulanin.

Mironov B.N. (2017a) Dostizhenija i provaly rossijskoj ekonomiki v gody Pervoj mirovoj vojny [Achievements and failures of the Russian economy in the First World War]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta: Istorija,* vol. 62, no 3, pp. 463–480.

Mironov B.N. (2017b) Pogruzivshaja v smutu i ukravshaja pobedu revoljutsija [The revolution that plunged the country into turmoil and stole the victory]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta: Istorija,* vol. 62, no 4, pp. 693–716.

Nefedov S.A. (2011) Uroven potreblenija v Rossii nachala XX veka i prichiny russkoj revoljutsii [The level of consumption in Russia in the early 20th century and the causes of the Russian revolution]. *Obshhestvennye Nauki i Sovremennost*, no 3, pp. 97–111.

Ostrovsky A.V. (2013) *Zernovoe proizvodstvo Evropejskoj Rossii v kontse XIX — nachale XX vv.* [Grain Production in European Russia in the Late 19th — Early 20th Century], Saint Petersburg: Poltorak.

Sukhova O.A. (2008) *Desjat mifov krestjanskogo soznanija: Ocherki istorii socialnoj psihologii i mentaliteta russkogo krestjanstva (konets XIX — nachalo XX v.) po materialam Srednego Povolzhja* [Ten Myths of the Peasant Worldview: Essays on the History of Social Psychology and Mentality of the Russian Peasantry (Late 19th — Early 20th Century) Based on the Materials from the Middle Volga Region], Moscow: ROSSPEN.